

Мирасил
КУРАЕВ

НОЧНОЙ
ДОЗОР

Михаил
КУРАЕВ

Ночной
дозор

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1990

ББК 84Р7
К93

К $\frac{4702010201-132}{М106 (03)-90}$ КБ-50-13-89

ISBN 5-270-01080-1

© Издательство Михаил Кураев 1990

ЖЕСТО- ЖОСТЬ

*Из семейной
хроники*

Что за счастье писать из семейной хроники!.. Особенно если речь идет о семействе никому не ведомом, каких тысячи, а может быть, и десятки тысяч, похожих как десятки тысяч капель воды, что падают зачем-то отвесно, а то и по косой, вниз, с неба на землю в виде дождя, в земле исчезают, а после невидимыми путями, впрочем иногда и видимыми, воспаряют опять куда-то вверх, быть может, опять на небо, чтобы другой раз упасть на землю среди десятков тысяч таких же обновленных капель... Что за странная прихоть, не останавливая дождя, угадать, понять, увидеть, как образовалась, как начала свое неотвратимое движение вниз каждая из необозримых капель, как стремителен и легок их полет, как он исполнен высшей мудрости устройства земли и неба, эта крохотная, связывающая землю и небо черточка... И что за смысл был бы даже в самом небе, не будь этих легких и живительных нитей?

Вам, летящим сквозь мрак и свет, вам, летящим в любую пору, вам, живущим ничтожные доли необозримого в своем начале и неизмыслимого в своем конце мирового времени, вам, единственным и неповторимым, как наша с вами жизнь,— мое сердце! моя рука!

«Семейная хроника» — вот жанр, который в первую очередь должен быть отнесен под покровительство начальства и всячески поощряться! «Семейная хроника» — свидетельство социальной незыблемости, твердости, прочности и основательности жизненного устройства всего общества!..

Вспомните, если сумеете, сколько в последние годы говорилось и писалось о семье, и она действительно заслуживает того, чтобы о ней было составлено правильное представление. И это не прихоть неумной любознательности! Именно выяснив происхождение сегодняшней семьи, уже без труда можно шагнуть к

осмыслению новейших форм собственности, а далее и к отношению между частным лицом и государством.

...Что ж, если не потянут мои худосочные герои, провиснет сюжет, не вытанцуются слог, ускользнет мысль и глухо прозвучит чувство, вещь должна уцелеть, должна сохраниться и пробить себе дорогу, хотя бы как прогрессивная и потому похвальная попытка спасти от захирения и увядания старинный и почтенный жанр.

В наши невероятные дни вокруг каждой березки, вокруг каждой былинки, пруда, ручейка, прежде чем они будут сломаны, растоптаны и закопаны, сплошь и рядом возникают комитеты из ответственных лиц — в защиту!.. Сегодня, когда наконец-то подсчитано, сколько квадратных километров пашни превращено в пыль, а сколько в болото, сколько воды утекает и утекло не туда, куда течь надлежало и надлежит, когда с точностью до сантиметра записано, сколько земли напрасно затоплено и сколько столь же бесполезно высушено, трудно уже найти на земле и даже на воде место, где можно было бы твердой ногой встать на защиту и протестовать... Однако, пользуясь тем, что экологические страсти пока еще довольно медленно вторгаются в сферы письменности, поскольку в сферах этих в ближайшие пятьдесят — семьдесят лет не предвидится решения главного вопроса: что защищать, а что выкорчевывать, — здесь-то как раз и можно найти что-нибудь такое, как бы увядающее, подсыхающее, хиреющее, но еще окончательно не захиревшее, на защиту чего можно встать в надежде увидеть рано или поздно плоды своего мужественного и прогрессивного стояния...

Для большей привлекательности следует сказать, что среди всех существовавших доньше семейных хроник, начиная с Эсхиловой «Орестей», минуя «Тристрама Шенди», «Господ Головлевых», «Анну Каренину», «Буденбровков» и, предположим, «Форсайтов», предлагаемая «семейная хроника» обладает единственным, но несомненным достоинством — краткостью!.. И это вовсе не заслуга автора, это заслуга нашего замечательного времени, когда время, отпущенное на существование семьи, измеряется не только что короткими годами, если бы так! не только недлинными месяцами, и это куда ни шло!.. Немало примеров дает нам официальная статисти-

ка, указывая на семьи, просуществовавшие считанные дни и даже часы... Но и на этом фоне, который без труда дополнит и расширит своим собственным опытом приметливый читатель, настоящая «семейная хроника» может быть занесена в отдельный список, где поименованы события и поступки, ни на что не похожие, а если и похожие, то превосходящие все себе подобные в ту или другую сторону. Если допустить, что где-то на земном шаре, во вселенной, а может быть, и за ее пределами, есть семья такой прочности и такой продолжительности существования, каковые мы не можем себе представить своим умом, ограниченными пределами обозреваемого космоса, то так же смело можно предположить, что есть семьи, способные изумить всякого краткостью своего существования.

Излагая в полном объеме краткую историю семьи Владимира Петровича, каковая является лишь фрагментом семейной хроники Тебеньковых, любознательным людям будут сообщены сведения о жестоком поступке ветеринарного врача, поступке, подобных которому нигде не увидишь; будет изображен сам ветеринарный врач и его жертва, место действия, пейзаж, погода и даже отдельные штрихи середины шестидесятых годов, когда по известным ныне причинам и более значительные события были неспособны всколыхнуть дремавшие гражданские чувства и вызвать надлежащий ответ; при этом все будет описано сугубо кратким и правдивым пером без пристрастия, с подобающей скромностью.

...Сегодня, когда история распахивает перед нами свои полные неожиданностей объятия, обещая невероятные, непредсказуемые никакой, самой безумной фантазией сюжеты и ошеломляющих воображение героев, — куда же мне с моими старичками, которые даже в семейной хронике Тебеньковых, подчеркиваю еще раз, занимают скромное второстепенное место?

Что за причуда использовать нынешнее небывалое еще время, когда почти официально разрешена даже некоторая озлобленность против начальства, обрушиваться всей силой, всей мощью припасенных художественных средств на коровьего акушера в отставке, бывшего ветеринарного врача Владимира Петровича, обращая общественное внимание на его жестокий и неприглядный нрав! И это сегодня, когда вместе с масками с лиц, почитавшихся многие годы благодетелями человечества, летят

прочь пенсне, усы, брови, кокарды, лампасы и звезды целыми созвездиями! И это в наши несчастные дни, когда повсюду вдруг обнаружались такие силы, о существовании которых еще каких-нибудь сорок — пятьдесят лет назад и помыслить было бы небезопасно. Где же таились они, эти силы? где накапливались? зрели, наливались?.. Ведь на невозмутимой поверхности подернутого ряской бытия царило безграничное послушание, молчание и дисциплина?.. Повсюду! Так как же это умиротворенное бытие могло породить совершенно противоположное этому бытию сознание? Да, вот место, где легко было бы споткнуться, не лежи рядом ответ на этот каверзный вопрос в трудах классиков человеческой мысли: жизнь движется борьбой противоположностей, а стало быть — дисциплина порождает желающих ее нарушить, тишина побуждает кое-кого измерить ее глубину звуком, а послушание чревато, как выясняется, бунтом.. Поэтому — гони законы природы и общества в дверь, они обязательно вернуться в окно, и если не в твое, так в этом только твоя вина и ничья больше...

Да полно об этом!..

Ни тираны, ни изверги, ни злые духи, то там, то сям бравшие под свою опеку все, что охватывала их рука, любовь, взор и мысль, не коснулись ни Марии Адольфовны, ни Владимира Петровича, и поэтому оба героя должны быть отнесены к разряду безусловно второстепенных в рассуждении произошедшей всемирной истории, а принимая во внимание возраст, род занятий и вообще, так никому в сущности и не понадобившуюся жизнь, их так же следует отнести к разряду героев исторически бесперспективных, с точки зрения прекрасной своими неожиданностями истории человечества, которая еще поджидает своего часа в непроглядной дали времен.

В наши невероятные дни, когда почти отменена ненависть к бесцензурному слову, мысли, свободе, когда каждый думает все, что придет ему в голову, когда каждому дозволено считать себя не глупей некоторых, в это самое время отвлекать общественное внимание на коровьего лекаря и его семидесятиоднолетнюю невесту, быть может, дело совершенно предосудительное, удаляющее людей доброй воли от забот прогрессивных и не терпящих отлагательств.

Заботиться же о Марии Адольфовне и тем более о Владимире Петровиче не надо, поскольку даже ко времени излагаемых событий они уже одной ногой стояли в могиле, а в нынешние времена, надо думать, природа помогла им сделать тот неизбежный и завершающий шаг, по важности своей в жизни каждого человека сравнимый лишь с рождением. Быть может, следует еще сказать с прямотой и откровенностью, продиктованными нашими несчастными днями, о том, что ни Марию Адольфовну, ни тем более Владимира Петровича отнести к людям «доброй воли» никак нельзя. Просто невозможно припомнить, чтобы за последние пятьдесят-шестьдесят лет они сделали что-нибудь примечательное для ускорения жизни на извилистых, тернистых, а подчас и политых кровью путях прогресса. И вообще не припомнишь, делали ли они хоть что-нибудь по доброй воле.

В ветеринарный техникум, как известно, Владимир Петрович попал не по доброй воле. Глубокие социальные корни — сын врача и конторской служащей с фабрики Мельцера — не позволили Владимиру Петровичу оторваться от своего недоброкачественного происхождения и проникнуть незамеченным в медицинский институт, как он того страстно желал. Не помогло и письмо наркому тов. Семашко с напоминанием о заслугах отца Владимира Петровича, Петра Дмитриевича, не однажды успешно врачевавшего пострадавших в сражениях гражданской войны бойцов и командиров Красной Армии. Отвергнутый стойкой в своих классовых убеждениях приемной комиссией, как элемент социально чуждый новому обществу, Владимир Петрович, исполненный сострадания ко всякой живой твари и лишенный права милосердствовать роду человеческому, удовольствовался возможностью пройти в еще не поставленный на строгую социалистическую ногу ветеринарный техникум и пользоваться мелкий и крупный скот и всяческих животных из домашнего сословия.

По доброй ли воле большую часть своей подзатянувшейся жизни Мария Адольфовна прослужила стрелком вооруженной охраны на материальном складе станции Кунгур?

Семейная хроника сохранила достоверный ответ и на этот вопрос, и он прозвучит в полную силу в нужное время в припасенном для этого месте. А пока же на-

до честно и прямо сказать, что и за час, и за минуту до принятия столь важного для всей ее последующей жизни решения не думала и не мечтала Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, встать под ружье на долгие годы...

Семейная хроника! этим сказано все...

Архивным материалом здесь служит кожаное пальто Алексея Андреевича, полученное по ленд-лизу в каком-нибудь успешном сорок четвертом году, пальто даже сравнительно малоношеное в силу своего гиперболического фасона: от пояса вверх как бы колет тореадора, а от пояса вниз как бы кринолин или цыганская юбка... А чемодан! купленный для поездки за границу, за границу не поехавший и лишь перемещаемый вот уже лет двадцать из кладовки на антресоли, с антресолей в чулан, а ныне и вовсе застрявший под письменным столом в бывшей детской, растерявшей своих подросших, женившихся и разлетевшихся из родительского гнезда обитателей...

Бедная, бедная Клавдия Степановна, домохозяйка с тридцатилетним стажем, не лукавый ли тебя попутал, когда на вопрос выездной комиссии райкома, на пустяшный вопрос: «Назовите, пожалуйста, партии в стране Помидории?» — ты, заподозрив подвох, с лукавой улыбкой, безотказно действовавшей на провизоров, мясников, приемщиков в ателье и мастерских и даже на водителей такси, сказала, что в указанной стране только одна партия. На законный вопрос комиссионеров: «Какая же именно?» — с неподдельной гордостью окончателью лягнула: «КПСС, вот какая!»

...Невыездной чемодан, ставший семейным сейфом, ты хранишь в своих душевных недрах чепчик с головы то ли старшего, то ли младшего сына, но равно бесценный для материнского сердца, хранишь ты и фуражку, в которой хаживал в девятый класс именно младший, поскольку старший успел закончить школу в ту эпоху, когда еще не додумались до возвращения фуражки на ученические головы; ты хранишь крепдешиновые руины, пестрое многоцветье первого послевоенного платья; крепкие непарные носки, расплзшуюся белую шаль, стянутые атласной ленточкой пачки писем военного времени, ручку от патефона, кулек с пуговицами

и пару отличных рукавов от неведомо куда подевавшегося пиджака...

Мир тебе, чемодан несбывшихся надежд! чемодан, полный растаявших грез о посещении благословенной страны Помидории!.. Стань памятником, стань музеем, стань архивом! В твоём чреве лежит тоненькая пачка из десятка писем со станции Кунгур Южно-Уральской железной дороги, написанных женской рукой, непривычной к письменным занятиям, а более привычной к неполной и полной разборке старой доброй трехлинейки, вскапыванию небольшого, но плодovitого огорода на охраняемой территории и уборке караульного помещения...

И нигде больше, ни в одной хронике, ни в одном архиве, ни в одной самой полной всемирной истории не сохранилось сегодня следов и памяти, хотя бы и косвенной, вроде этих писем, напоминающих стремящемуся к всеобщему счастью человечеству о невероятном поступке Владимира Петровича, давшем полное основание назвать этот фрагмент судьбы так, как он назван с самого начала.

Оставим минувшим временам семейные хроники, переполненные памятными с детства переездами на лошадях, трескучими морозами, двоюродными тетками, урожденными Н. и выданными в надлежащее время в законный брак за Н.Н., а впоследствии мирно угасающими в окружении ожидающих наследства родственников...

Являясь сам современником собственных дней, могу утверждать, что и к своей собственной персоне не так уж много нынче у граждан любопытства, чтобы перебирать подробности чуждой им жизни. А потому, лишь отдавая дань традиции, необходимо слегка коснуться могил и, минуя все, что только можно миновать, дать живую картину жестокого поступка Владимира Петровича, подтверждая выдвинутое в заголовок название, с тем чтобы не умозрительные рассуждения, а сама живая действительность обратила нас к какому-либо замечательному лозунгу или призыву.

Прежде чем приступить к делу основательно — с пейзажем, погодой, с визгом трамвайных колес на повороте, — поскольку Мария Адольфовна ехала в загс на трамвае, петлявшем у гренадерских казарм и улице Братства, в то время как Владимир Петрович катил из

своих Озерков на двадцатке по прямой как стрела линии прямо до бывшего Учительского института, где разместился райком, а рядом в краснокирпичном здании типа казармы приютился загс и бюро по обмену квартир, — так вот, прежде чем пуститься в эти лаконичные зарисовки, подтверждающие истинность излагаемых событий, надо кратко и сжато изложить всю историю разом и сообщить ее смысл, чтобы читатель имел возможность решить самостоятельно, есть ли резон продолжать чтение или можно предаться более содержательным занятиям.

Итак, ему было семьдесят и он стоял одной ногой в могиле, ей же всего за три дня до этого исполнилось семьдесят один. Они поженились самым настоящим порядком, официально, со штампом в паспорте, соответствующей записью и сердечными поздравлениями от дежурного депутата райсовета. Мысли депутата, не высказанные вслух, не будут изложены и позже. Родилась новая, и стало быть, в известном смысле, молодая семья. Жить бы им и жить, совет да любовь, а все пошло совсем по-другому, потому что Владимир Петрович по завершении официальной церемонии поступил просто жестоко. Вскоре после этого Мария Адольфовна уехала в свой Кунгур, который, впрочем, своим так никогда и не считала, и больше своего жениха, то есть уже мужа, и в глаза не видела.

Смысл этой истории серьезный и нравоучительный: плохая штука — жестокость; как бы все замечательно и прекрасно могло сложиться, и дальний план Клавдии Степановны мог осуществиться в полной мере.. Так нет же!.. Быть может, этот рассказ поможет хоть кого-нибудь ожесточить против жестокости. Вот и цель, вот и смысл, если преподнести его, смысл этот, художественно завуалированно, в форме каламбура.

После того как история изложена в самом кратком виде и обозначен ее смысл, можно приступить и непосредственно к хронике как таковой. Но и здесь рассказ будет постоянно тяготеть к вышеупомянутой свадьбе, не отвлекаясь на сообщение о том, как она, Мария Адольфовна, похоронила собственноручно троих своих детей и мужа, или про бонбоньерку с шоколадом, не будет подробных картин и сцен, где можно было бы

наблюдать, как собираются в молодежном общежитии старички, чай пьют, разговаривают... Разумеется, если человек прожил уже семьдесят один год, о нем можно многое рассказать, одна погода за это время сколько раз сменилась, а мысли? а чувства? а настроения? случаи всякие забавные, одних войн только было четыре, нет, пять... Но к чему все это? Правила хорошей семейной хроники требуют прежде всего разъяснения, кто же такая эта загадочная Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, и, главным образом, как это она опять очутилась в середине шестидесятых годов в городе Ленинграде, хотя это ее появление не отвечало государственным интересам. Приехала она из Кунгура, куда уехала во время войны из Ленинграда, не то чтобы сама вот так взяла и уехала, просто с точки зрения людей, мысливших государственно, оставлять во время войны в городе, готовившемся к схватке с врагом, лиц с таким отчеством представлялось небезопасным.

Пани Сварецка, едва начались бомбардировки города, была тут же вызвана на Дворцовую площадь, носившую в ту пору имя убитого на этой площади Михаила Соломоновича Урицкого, решительный молодой человек с двумя шпалами в петлице безукоризненной гимнастерки попросил у нее паспорт, едва взглянул на сделанные в паспорте записи, на глазах Марии Адольфовны ловко, без видимых усилий порвал полуматерчатую ткань обложки, бросил в стоявшую рядом урну, уже заполненную наполовину такими же никуда не годными документами. После этого Марии Адольфовне без объяснений была вручена справка и категорическое предписание немедленно покинуть город. Так в начале августа сорок первого года с быстротой и удобствами, о которых не могли и мечтать сотни тысяч горожан, устремившихся в эвакуацию, пани Сварецка покинула еще не знавший о своей судьбе Ленинград.

Высаженная согласно предписанию сдержанного молодого человека с двумя шпалами на деревянном перроне станции уральского городка, славящегося своими мягкими для резьбы камнями и жесткими на вид и чуть грубоватыми в действительности нравами горожан, польская леди, не обремененная особенным багажом, кроме швейной машинки в одной руке, чемодана в другой и вещмешка за спиной, сразу с поезда шагнула в первую попавшуюся дверь. Дверь оказалась дверью отдела кадров

станции, где ей было немедленно предложено место в охране материального склада, поскольку настоящие стрелки вот-вот должны были покинуть свои посты по мобилизации... Представьте себе, она согласилась с легкостью, которая может показаться даже легкомыслием, однако трезвый практический ум пани Сварецкой рассчитал получше Генерального штаба, что полчища оккупантов двинутся по советской земле значительно быстрее, чем ее поезд от Ленинграда на Урал, а стало быть, Красной Армии выгнать их до зимы навряд ли удастся, следовательно, ей понадобится зимнее пальто. Выехав из Ленинграда в легкой летней одежде, она не имела и каких-либо особых денег, если не считать свалившихся ста шестидесяти трех рублей долга, что в последнюю минуту успела ей вернуть Софья Валериановна, умудрившаяся найти Марию Адольфовну на перроне Московского вокзала в эвакуационной сутолоке и неразберихе. Принимая предложение инспектора по кадрам ст. Кунгур, пани Сварецка соблазнилась не столько возможностью встать под ружье, полагавшееся ей по службе, хотя мысль о том, что ненавистные боши, дойдя до Урала, наткнутся и на ее штык, приятно волновала грудь, нет, как раз не волнением, а покоем и уверенностью в завтрашнем дне было сообщение инспектора по кадрам о месте в общежитии и форменной одежде летнего и зимнего образца с удержанием из зарплаты всего лишь 50 процентов ее стоимости. На такой прием, на такую встречу в далекой и несколько чужой земле пани Сварецка рассчитывать не могла. Видя столько кругом неустройства, бедности и непорядка, Мария Адольфовна не ждала и тем более не требовала от властей, запутавшихся в дележе весьма в общем-то ограниченных благ, своей доли счастья и благополучия. Судьбой своей в эту минуту и в последующие годы была довольна, а что рассказывать о счастливых людях, только читателей дразнить да раздражать собственную нездоровую печень завистью.

Где-то в середине пятидесятых годов Мария Адольфовна появилась в Ленинграде в синем берете, украшенном эмалевой мишенью со скрещенными винтовками; на удивленный взгляд Тебеньковых, прибывших на тот же самый перрон Московского вокзала для встречи, Мария Адольфовна пояснила, что в форме чувствует себя на транспорте значительно уверенней.

Жила Мария Адольфовна в Ленинграде у Алексея Андреевича Тебенюкова, поскольку он был хотя и не в прямом, но все-таки в родстве с Гильдой Вильгельмовной, а брат Гильды Вильгельмовны, умерший до войны, до первой мировой разумеется, был в свое время женат на племяннице мужа сестры матери Марии Адольфовны, то есть, если говорить строго, являвшейся в какой-то мере даже сестрой Марии Адольфовны. И это все свято помнили и принимали Марию Адольфовну у Тебенюковых как родную отчасти и оттого, что дядя Адольф, которого никто из Тебенюковых никогда не видел и видеть не мог, поскольку в 1913 году дядя Адольф в городе Лодзь жил и застрелился, все-таки был женат на племяннице мужа сестры достопочтенной мамы Марии Адольфовны. Примешивалась сюда и иная благодарность за то, что в 1931 году, когда молодой Алексей Андреевич приехал из Воронежа в Ленинград учиться, жил он, пользуясь не прямым, но все-таки родством, у Марии Адольфовны на Морской, в той единственной комнате, что сохранилась у нее от неплохой квартиры, где жила в свое время одна большая семья. Шесть лет прожил Алексей Андреевич с Марией Адольфовной, можно сказать, бок о бок, пока работал на «Электросиле» монтером, а вечером мотался в Политехнический институт.

Принимали Марию Адольфовну еще и потому хорошо, что дети Алексея Андреевича не видели ни бабушек своих, ни дедушек. Обе бабушки дотянули только до блокады, одна до декабря, другая до февраля, а дедушки умерли еще до войны, и поэтому Мария Адольфовна, с ее пышной шевелюрой, к которой множеством шпилек крепился военизированный берет, с ее старыми манерами, с ее привычкой ко всем обращаться на «вы», с ее неистребимым польским акцентом, вся она была для детей Алексея Андреевича вроде как бабушка. Детям было уже за двадцать, младший умудрился, несмотря на протесты родителей, жениться, но оба сына громогласно утверждали, что обрести бабушку и на старости лет все-таки приятно.

Марию Адольфовну считали в семье вполне своим человеком, поэтому при ней ругались и ссорились, чего при посторонних, как известно, не позволяет.

Однажды, когда младший сын очередной раз вогнал мать в слезы, Мария Адольфовна, утешая Клавдию

Степановну, у которой все из рук валялось, сказала нараспев:

— Хорошо, что я своих еще маленькими похоронила и слез от них не видела...

То ли для утешения так сказала, то ли пошутила. Детей своих она вспоминала совсем не часто, чрезвычайно редко, как и всю ту жизнь, что едва угадывалась в далеком довоенном прошлом, а вот бонбоньерку с шоколадом вспоминала часто. Старший брат Марии Адольфовны работал в Петрограде на фабрике «Торнтон» мастером по крашению тканей. Однажды старший брат пригласил в ресторан Марию Адольфовну, и отца, и мать, и друга их сестер, и брата Рудольфа. Был обед. А после обеда подали бонбоньерку с шоколадом, и обед этот очень часто вспоминала Мария Адольфовна, гораздо чаще, чем город Лодзь или город Щецин, где семья успела пожить перед войной, перед первой мировой, разумеется.

Как у Тебеньковых обед хороший да веселый, так она обязательно в конце вспомнит про бонбоньерку, а обеды такие случались у Тебеньковых нередко.

Приезжала Мария Адольфовна в Ленинград нечестно, раз в три года примерно, но жила подолгу, месяца два-три, а последний раз почти полгода. И дело вовсе не в сорока семи рублях пенсии, которая там, в Кунгуре, за три месяца набегала в изрядную сумму, дело в том, что всякий раз становилось все трудней найти подходящий мотив, причину и объяснение отъезда Марии Адольфовны обратно в Кунгур, в свое родное молодежное общежитие, где вечерами допоздна играют в пинг-понг, смотрят по телевизору передачи из Перми и стремятся утвердить свой музыкальный вкус и права своего музыкального кумира не только у себя в комнате, но и в коридоре и на всем этаже, устраивая соревнования громкости приемников, проигрывателей и магнитофонов, хотя в ту пору магнитофонов было всего два на все общежитие. Жила в общежитии Мария Адольфовна вместе с напарницей, тоже пенсионеркой, в той самой комнате, что была оборудована под жилье самой Марией Адольфовной в конце лета и начале осени 1941 года...

Вообще-то Мария Адольфовна разместилась в общежитии очень хорошо, очень удачно. То есть сначала, как бы временно, ей был предоставлен апартамент в

виде бывшей умывальни, вот уже два года по своему прямому назначению не использовавшейся; превратить умывальню в жилое помещение тоже не представлялось возможным по причине отсутствия печки, предмета в условиях Южного Урала необходимого. Впрочем, если бы эта умывальня в молодежном общежитии была оборудована как следует, навряд ли из нее удалось бы соорудить очень приличное жилье всего лишь двумя женскими руками в весьма короткий срок. Но умывальня была устроена тят-ляп.

В конце-то концов! не те времена, чтобы делать тайну из вопроса, почему все-таки закрыли умывальню. Дело в том, что умывален на первом этаже было две, в торцах длинного коридора этого изрядного двухэтажного деревянного здания. И в обе умывальни с улицы лезли, не воры, конечно, а те самые посторонние лица, присутствие которых в стенах и под крышей молодежного общежития категорически запрещено правилами внутреннего распорядка и правилами нравственности. У коменданта, располагавшего всего лишь двумя ногами, причем одна из них была деревянной, не было возможности драться с наседавшими врагами режима на двух фронтах одновременно. Сначала комендант принял историческое решение — закрыть южную умывалку в порядке временной воспитательной меры, но мера оказалась недостаточно эффективной, и про закрытую умывалку забыли. Пытливого ума читатель, разумеется, спросит, почему же нарушители режима не лезли непосредственно в окно жилых комнат хотя бы первого этажа? Вопрос серьезный. И ответов может быть сразу несколько. Ну, во-первых, в условиях климата Южного Урала окна жилых помещений тщательно заделываются и утепляются на значительную часть года и открывать их непрестанно — значит попросту рисковать здоровьем всей комнаты ради сомнительного удовольствия немногих. Во-вторых, комната, уличенная в нарушении самого основополагающего правила внутреннего распорядка, могла вся разом лишиться права на койку, права на заслуженный отдых после трудового дня, были случаи, когда отправлялись искать жилье в частном секторе целыми комнатами, а в городе, забитом **выковырянными**, как в шутку назывались эвакуированные, найти жилье и за хорошие деньги было непросто... Иное дело гость, пролезший в окно умывалки! Ему грозит всего лишь изгнание

в случае задержания, и никаких санкций на тех, кто затаив дыхание ждал гостя.

Не понадобилось ни великих средств, ни огромных усилий, чтобы запущенный чулан превратить в превосходное жилье, даже как бы в отдельную квартиру почти со всеми удобствами. И то, что раньше было недостатком, обернулось значительным достоинством! Например — полы. Полы в умывальне были деревянные, крашеные, для туалетной — плохо, а для квартиры — клад! Из трех раковин, укрепленных вдоль правой внутренней стенки, действовала лишь одна, первая от двери, что было неудобно в смысле толкучки и очереди, но когда Мария Адольфовна, действуя шведским ключом и небольшим ломиком, типа «фомки», разобрала и выкинула две недействующие, то первая у двери оказалась совершенно на месте, да еще освободилось место и для плиты. Набрав на станции цемента из порванных при разгрузке мешков и прихватив ведро песка, предназначавшегося для тормозных песочниц паровозов, она за один вечер так заделала стенку, что и следов от утративших свой смысл раковин не осталось. О том же, как появилась в этой части обживаемой территории плита, ходили легенды. И даже в три колена жестяная труба, протянувшаяся от плиты почти через все жилье, способствовала дополнительному обогреванию помещения. Поставленная перегородка, сооруженная из отслуживших свое линялых транспарантов «Берегись поезда!», «Хожение по путям опасно!», «За курение на территории нефтесклада — под суд!» и известного высказывания тов. Молотова «Все дороги ведут к коммунизму!» — была укреплена дополнительной фанерой и оклеена с обеих сторон поверх газет дешевыми обоями.

В течение трех недель, что Мария Адольфовна с муравьиным упорством и большевистской решительностью чуланную нежить превращала прямо-таки в хоромы, комендант общежития почти непрерывно участвовал в проходах своих бывших подопечных и постояльцев на фронт и потому трезвым почти не был. Однажды, протрезвев, он вспомнил, что «вохровская тетка», как она числилась в его своеобразной памяти, не устроена и надо что-то решать, нашел ей место в шестикоечной комнатке и со счастливой вестью приковылял к бывшей умывалке. Не веря своим глазам, он обозрел как бы отдельную квартиру из кухни и спальни-гостиной, мгновенно прики-

нув, что кроме полагающегося шкафа можно поставить еще и вторую койку. Так Мария Адольфовна получила к себе в компаньонки Сусанну Яковлевну, женщину тихую, приветливую и одинокую, занесенную в Кунгур шальным военным ветром. С лица Сусанны Яковлевны никогда не сходила такая как бы полуулыбка, которой она словно просила прощения за свой небольшой горбик, горькой поклажей лежавший на ее узкой спине с раннего детства. Сразу же приняв старшинство решительной и ясной Марии Адольфовны, Сусанна Яковлевна, несмотря на то что была старше Марии Адольфовны лет на пять, взяла безропотно роль младшей сестры. Надо сказать, что комендант, человек совестливый и грубый только по долгу службы, чувствовал себя несколько неуютно, сознавая, что никак не принял участия в устройстве жилья на территории умывалки, что могло пойти лично ему в плюс, как инициатива по уплотнению, и потому хотел как-то внести и свою лепту. Дополнить новое жилье чем-либо у него попросту не хватало фантазии, и оставалось только что-нибудь сохранить из того, что еще не было выкорчевано твердой рукой польской леди. Невыкорчеванной оставалась только решетка на окне. Та самая многострадальная решетка из арматурной проволоки, множество раз гнутая, отрываемая, прибываемая скобами и барочными гвоздищами, вареная-перевареная... «Нас не украдут!» — ударяя на «а», сказала Мария Адольфовна, требуя снять решетку. Комендант не оплошал, он плотно подступил к Марии Адольфовне, резко оглянулся на притихшую на своей койке Сусанну Яковлевну и, почти не разжимая губ, быть может, только для того, чтобы сдержать предательский дых, зловеще произнес: «До особого распоряжения...» Это признание можно было понимать многообразно: то ли комендант ждал на этот счет указания из далекой Москвы, то ли из местных органов, громко вслух не именуемых, то ли намекал на особые мотивы, связанные с подселенной жиличкой, в общем, это был тот самый голос и тон, который безошибочно позволял каждому его услышавшему понять значительность сказанного и самому подобрать объяснение для любой даже ляпнутой с полухмеля глупости. Зная, что «такое» зря не говорится, Мария Адольфовна с решеткой смирилась, а после того, как в общежитие трижды проникали уже не романтические поклонники юных затвор-

ниц, а самые натуральные расконвоированные ээки, в немалом числе объявившиеся в Кунгуре, вопрос о решетке на окне первого этажа Марией Адольфовной и Сусанной Яковлевной, разумеется, не поднимался...

Служба в вооруженной охране, имея в виду многие ее преимущества, не особенно тяготила Марию Адольфовну; относясь к любому делу серьезно и уважительно, сознавая его необходимость в общей цепи человеческих забот, в чем в полной мере обнаруживала себя подлинно европейская традиция, она сравнительно легко привыкла к новому своему положению...

У Тебеньковых жалели, что Мария Адольфовна так далеко живет одна, и все время говорили, чтобы переезжала в Ленинград, но все было сложно. Бурный и прямой Алексей Андреевич, как и подобает руководителю его ранга, так прямо и объявил: «Ну, что вы там в своем общежитии сидите, смерть поджидаете?!» На это Мария Адольфовна только смеялась.

Комната на Морской, где она жила до войны и где квартировал в свое время юный в ту пору Алексей Андреевич, во время войны пропала. Дом уцелел, а комната пропала. Вернуться после эвакуации, вернуться все-таки без ленинградского паспорта, стало быть, сначала выхлопотать паспорт, потом хлопотать о площади, о прописке, это какое же надо иметь здоровье, деньги, или хотя бы знакомства. Ни первого, ни второго, ни третьего у Марии Адольфовны не было. А чтобы прописаться у Тебеньковых, хотя площадь и позволяла, нет оснований. Не скажешь начальнику паспортного стола, что муж племянницы мужа сестры Гильды Вильгельмовны, дядя Адольф был прекрасный человек, хотя и застрелился в 1913 году в городе Лодзь. Сначала Мария Адольфовна побаивалась подолгу жить без прописки у Тебеньковых, а последний раз зажила. Немалую роль в этом продолжительном гостевании, конечно, играла Клавдия Степановна. В хронике Тебеньковых, изобилующей семейными кризисами разного масштаба и полета, середина шестидесятых годов будет обозначена как эпоха «игры вслепую». Игра эта не имеет ничего общего с шахматами, так как там все просто, нужно иметь хорошую память и помнить свои ходы и ходы соперника. В этой же игре, что вела Клавдия Степановна, ей приходилось делать ходы, не зная наверняка, что там еще совершил или только еще собирается совершить, какой еще

ход делает ее размашистого нрава супруг. Семейные узы, скрепленные детьми, сильно ослабели после того, как дети выпорхнули из родительского гнезда, один к жене, другой на недалнюю стройку, где-то на Свири, соблазненный не столько перспективами инженерного роста, сколько возможностью передохнуть после института, отдохнуть от семейного деспотизма. Дом как бы опустел. И как ни старалась Клавдия Степановна заполнить его праздниками выдуманнными и настоящими, как ни старалась нагрузить и самого Алексея Андреевича заботами по благоустройству и совершенствованию среды обитания, даже приобретение «Москвича»-стиляги, съедавшего немало свободного времени Алексея Андреевича, не давало Клавдии Степановне возможности чувствовать себя спокойно. В сущности, Клавдию Степановну ее природное чутье и на этот раз не подвело, когда она рассудила, что старики могут вполне заменить детей, если рассматривать их как элемент крепления семейных устоев.

Нельзя поручиться, что именно этими словами, именно так понимала Клавдия Степановна сложившуюся к середине шестидесятых годов ситуацию, но разве дело в словах?..

...Был чудесный июньский день. Ему предшествовало прекрасное утро, обещавшее исключительно хороший денек и, надо сказать, сдержавшее свое обещание.

Клавдия Степановна, человек, убежденный в том, что ленинградцы, в отличие от прочего человечества, есть люди, исполненные тонких чувств и, главным образом, тонких предчувствий, в это утро еще раз подтвердила верность своим убеждениям. Какое-то... зачем какое-то? — именно ленинградское предчувствие подсказало ей завидной решительности поступок.

— К черту обед! — сказала эта женщина, в общем-то бога побаивавшаяся и задабривавшая его куличами.— К черту кастрюли! Конца всему этому не будет... Такой день, солнце... Поехали на острова? Вернемся, что-нибудь сообразим по-быстрому. Я думаю, рыбу возьмем на углу Куйбышева и Чапаева, а сосиски купим у нас в гастрономе.

— Леша просил воротничок на двух рубашках переставить,— нараспев и даже сердито сказала Мария Адольфовна.— Как же я могу ездить на острова?

Прожив всю жизнь среди русских, Мария Адольфовна все-таки ударения во многих словах ставила по-своему, и потому речь ее была всегда особенной.

— Хватит этой каторги! — помолодев от собственной решительности, сказала Клавдия Степановна.— Едем!

Если бы Клавдия Степановна стала и дальше словами убеждать Марию Адольфовну в необходимости отдохнуть и развеяться, то навряд ли она одержала бы верх. Но она просто скинула шлепанцы и пошла причесываться к зеркалу. Мария Адольфовна, что-то сердито ворча под нос, но достаточно неразборчиво, чтобы не завязалась дискуссия, тоже приступила к сборам.

Поездка на Кировские острова, излюбленное место отдыха трудящихся, была бы вполне симпатичной прогулкой двух беглецов с домашней каторги, если бы с самого начала поездке этой не сопутствовала излишняя доля деловитости, ощущение смелости и дерзости предприятия, не покидавшее Клавдию Степановну.

Будь я живописец и будь у меня под рукой холст и порядочные краски, мне не составило бы труда в этом месте написать картину, отражающую именно то настроение, каковым необходимо проникнуться читателю хроники, прежде чем он окажется на Кировских островах. Впрочем, нет нужды тужить об отсутствии красок, холста и умения делать картины, необходимая картина уже сделана и принадлежит кисти художника И. Левитана, называется «Золотая осень» и известна по множеству репродукций как на изделиях фабрики «Северное сияние», так и на изделиях фабрики им. Микояна. Почему же трамвайная остановка на пыльном проспекте, клубящийся в жаре каменный город, грохотом и зноем напоминающий цех железодельного завода, должен навевать чувства, запечатленные на картине «Золотая осень»? И дело происходит в июне...

Взгляните сами: солнце залило горячим светом весь город и всю природу, а две женщины, одна просто пожилая, а другая даже очень пожилая, чтобы не сказать старая, словно разом помолодев, бросились к солнцу, и безумное предчувствие счастливой будущности засияло им вдруг радужными цветами... а когда уставшая жить без надежды природа встречается с солнцем, ярким и щедрым, и радуется этой встрече, душа как раз и наполняется настроением, столь счастливо высказанным на картине И. Левитана «Золотая осень».

Для сообщения же исторической достоверности предлагаемой хроники необходимо сказать, что к описываемому дню подсезон разгара весны уже миновал свой пик. По садам и дворам отцветала спасшаяся и уцелевшая в городе черемуха, оставляя на газонах и тротуарах белые наметы. Наблюдавшееся к этому времени в мире животных отставание в сроках прилета насекомоядных уже стало выправляться. Это были последние годы гнездования ласточек-касаток в городе, не умея добыть себе и детям корм вверху, они носятся в поисковом полете низко над землей, где и находят свою единственную пищу — насекомую летучую мелочь. Излишне чувствительные к загрязненному воздуху и особенно выхлопным газам, уже в последующие два-три года касатки покинули город, переселившись в окрестные поселки окончательно, и больше не тревожили душу своим стремительным безудержным полетом над Марсовым полем, над могилами борцов, павших за лучшую жизнь.

Округлый мысок, разделяющий устье Средней и Большой Невки, именуется, как и множество подобных мысков, «стрелкой», но именно этот мысок обладал в представлении сверстников как Марии Адольфовны, так и Клавдии Степановны каким-то особым неизъяснимым свойством.

Город, утвердивший владельческие права русской короны на Балтийское море, выхода к морю, попросту говоря, набережной с видом на море, не имел. И долгое время едва ли не единственным местом, приспособленным для созерцания вожделенной морской дали, была «стрелка» на Елагином острове. Место украсили прекрасными каменными львами на великолепных каменных же подставках, львы стояли, умиротворенно глядя с подставок друг на друга, для важности положив приподнятые лапы на шары, оказавшиеся на постаменте очень кстати. Здесь же были оборудованы каменные скамьи, удобные для сидения в более мягком климате.

Живописная панорама расстилалась перед достигшими «стрелки» горожанами: прямо — вид на море, вернее, на мелководный залив, именуемый в память об одном из осторожных командующих Балтийским флотом, предпочитавшим держаться недалей от города акватории, Маркизовой лужей, кабельтовых в семи-девяти на траверзе Кронштадта — можно наблюдать земснаряды, перегоняющие песок со дна залива в Лахту, череду столбов линии электропитания, тянущихся через мелководье, а еще

дальше темные силуэты теряющихся в солнечном мареве фортов; слева открывался вид на обширные в ту пору пустыри левобережья Средней Невки, вправо же вид на Большую Невку, шириной уступающую и Средней и Малой, и лесопилку с высоченной жестяной трубой, носившую еще на памяти Клавдии Степановны имя Алексея Рыкова...

Трудно все-таки объяснить, почему истинный ленинградец, побывав именно на этом месте, уходит отсюда отдохнувшим, посвежевшим и приобщившимся даже к чему-то большему, чем природа, красота и поэзия...

— Володя! — крикнула Мария Адольфовна, и если сутулый гражданин с палкой в руках, семенивший мимо львов, еще не расслышал этот крик, нам надо вернуться к хронике и проследить последующие события со всем вниманием.

— Володя! — снова крикнула Мария Адольфовна, очень кругло произнеся оба «о».

Наконец, Владимир Петрович догадался, что Володя — это все еще он, и подошел к дамам.

Он был несказанно рад, встретив Марию Адольфовну и Клавдию Степановну. Клавдию Степановну он до этого не знал и был представлен.

Разговор людей, не видевшихся почти двадцать лет, очень интересен, и его легко представит каждый. Значительно важнее сказать о том, о чем не говорилось.

С какой стати стал бы Владимир Петрович напоминать Марии Адольфовне в первые минуты встречи, радостной и неожиданной, как игравали они в четыре руки, и игры эти, быть может, и послужили основанием для предложения со стороны Владимира Петровича и дальше играть вместе, до конца своих дней, как в 1934 году он сделал овдовевшей Марии Адольфовне предложение, был настойчив и жил надеждой, пока в 1936 не услышал заветное «да». А когда он приехал к Марии Адольфовне на Морскую, чтобы сопровождать ее в загс, произошло следующее.

Незадолго до прихода жениха Мария Адольфовна, утомленная всеми хлопотами приготовлений, а разделить эти хлопоты уже тогда было некому, прилегла и уснула. Она проснулась от робкого, но настойчивого стука в дверь. И робость этого стука все и решила. Она в ту же минуту представила себе Владимира Петровича, от робости поклоняющегося всем богам, а пуще всех —

диете. Ей показалось, что в дверь постучалась старость.

Она накинула капот и открыла дверь.

— Володя, я хочу спать, зайди как-нибудь в другой раз,— сказала Мария Адольфовна и захлопнула дверь, лишь на секунду задержав взгляд на улыбке, которую принес ей Владимир Петрович. Улыбка была такая, будто ее взяли напрокат или купили в магазине держанных вещей. Мария Адольфовна даже успела представить за эту секунду, как нес Владимир Петрович эту улыбку по улице, поднимался по лестнице, боясь уронить с лица, благодарил соседей, открывших дверь, вот этой же самой улыбкой... Быть может, если бы не эта улыбка, она вышла бы за него замуж и не захлопнула бы дверь, ведущую к счастью. Но она согласилась, дала согласие именно тогда, когда огорченный долгим упорством Владимир Петрович вдруг перестал улыбаться вот так. Она, конечно, не сказала ему об этом. А теперь она просто закрыла дверь и уснула, как человек, сделавший важное и большое дело.

Потом они снова встречались и были друзьями до самой войны. И Владимир Петрович провожал Марию Адольфовну из Ленинграда в 1941 году в Кунгур и нес швейную машинку. Он несколько раз пытался возобновить переговоры о супружестве, но Мария Адольфовна была непреклонна.

Теперь самое время рассказать о Владимире Петровиче, он заслуживает того, чтобы о нем было составлено правильное представление, прежде чем мы увидим его во всем размахе его жестокого поступка, тем более что найти достоверное описание Владимира Петровича, кроме как в этой семейной хронике, пожалуй, и негде. Отрывочные сведения, хранящиеся то там, то сям о каждом из нас, не дадут основания для сколько-нибудь правильного суждения об этом человеке, способном бог знает на что.

А собственно, что за нужда знакомиться с каким-то Владимиром Петровичем?!

Вопрос совершенно уместный и заслуживающий незамедлительного ответа.

Владимир Петрович представляет безусловный исторический интерес, как человек единственный в своем роде, чья душа была подвергнута идеальной обработке молотом социальных бурь на наковальне эпохи. Ну, и разумеется, Владимир Петрович представляет безусловный интерес в рассуждении о жестокости.

Редкий ветеринарный врач за свои тридцать — сорок лет службы не устаивался в шутку или всерьез имени сказочного доктора Айболита, рожденного доброй фантазией знаменитого поэта, и только Владимир Петрович ни единого разу не услышал о себе такого, уж больно он был не похож, уж больно он был лишен и респектабельности, и энергии, и бьющей через край воли, создавших все вместе, быть может, самый привлекательный образ ветврача в мировой литературе. Надо думать, животные испытывали безусловное удовольствие от общения с Владимиром Петровичем: те, что позлей, понимали, что им не составит труда его загрызть или забодать, звери же смиренного нрава видели во Владимире Петровиче столь безобидное существо, что и зла от него совершенно основательно не предполагали.

Исцеление тяжело больного животного не вызывало в нем воодушевления, прилива сил, приступов самолюбия и веры в свои немалые способности, напротив, всяческое счастливое обстоятельство он рассматривал всего лишь как удачное избавление от возможных неприятностей, которые ожидали его в случае неблагоприятного развития событий и болезни.

Бессловесную тварь он понимал лучше и легче, чем людей, сам звук постороннего голоса, обращенный к нему с требованием или призывом исполнить долг, или занять место в общественном строю, четко шагающем к намеченной цели, в общем, вся наша шумная прекрасная жизнь производила на него впечатление не то чтобы оглушающее, но вводила в состояние, близкое к оцепенению. Всякий громко разговаривающий человек уже был для него начальником, а способный наорать и изматерить в правах на его робкую душу мог сравняться с самим господом Богом! Свою же доброжелательность, снисходительность и мягкий нрав, какого только и можно пожелать от истинного петербуржца, еще не подвергнутого обработке историческими катаклизмами, он частично распространял на женщин, каковых робел меньше, потому и терпел от них меньше, по большей же части все добродетели своей души и немалый опыт он проливал на своих четвероногих пациентов.

Приветливость Владимира Петровича, что отлично замечали даже его пациенты, была окрашена легкой тенью пришибленности, от чего производила впечатление несколько болезненное. Но это только на первых порах, по-

тому что Владимир Петрович умел как-то так убраться, как-то так уничтожиться, что и вовсе становился незаметен, и уже никакие его проявления не способны были привлечь к нему чье бы то ни было внимание. О нем помнили, но не замечали.

Фигура Владимира Петровича, в основном недурно сложенная и не лишенная приятных линий, в результате воздействия как внутренних, так и внешних стихий ясность форм утратила и нажила некоторую неопределенность, какую-то гуттаперчевую мягкость. Волосы носил свои собственные, за ушами стремившиеся расти почему-то горизонтально, по-видимому вследствие многолетнего ношения ветеринарного колпака, ограничивавшего рост в высоту. В одежде он был скромен и нарядов броских, обращающих на себя внимание роскошью или каким-нибудь неожиданным фасоном, не носил, за модой практически не гнался и неоднократно приобретал довольно приличные костюмы универсального в смысле моды покроя в магазинах держанных вещей, справедливо находя это целесообразным и с личной точки зрения и с точки зрения общественной экономии. Не терпя праздности и поглощенный с утра до вечера житейской суетой, освященной некоторой внутренней значительностью, Владимир Петрович день заканчивал рано и уже вскоре после девяти часов всячески стремился ко сну. Охоту, азартные игры, скачки и собственно верховую езду он не любил, хотя мог больной лошади и даже здоровой оказать массу всевозможных услуг.

Надо заметить, что скорее всего врачом Владимир Петрович был замечательным, но животные об этом сказать не могли, а работу свою он облакал в форму такого молчаливого услужения бессловесным тварям, что хозяева исцеленных зверей никак не решались воздать должное его искусству. В подтверждение сказанного можно привести случай с утробной водянкой. В Парголово, на улице Жданова никак не могла растелиться старая черная корова, которой в пору было не под быка идти, а под нож. Полночи приглашенные хозяйкой солдаты из стоявшей сравнительно недалеко у шоссе зенитной батареи, уже не раз оказывавшие разного рода ценные услуги, тоскали оравшую как пароход в тумане корову по полу хлева, таскали за голову появившегося и даже дышавшего теленка. Голова вышла, а дальше ни в какую! Бывает. Редко, но бывает. Промучившись полночи, по-

слали за Владимиром Петровичем в Озерки. Он прибыл и установил редчайший случай — теленок в утробном состоянии заболел водянкой, разбух и выйти смог лишь благодаря немалому искусству и сообразительности Владимира Петровича. Теленка, естественно, спасти не удалось, но поначалу ни злополучная роженица, ни ее хозяйка не могли поверить в свое счастье... А уже минут через двадцать ему пришлось слушать совершенно несправедливые упреки в том, что теленок не был спасен, что корова теперь не скоро придет в себя, что к началу отела Владимир Петрович мог бы сам догадаться и приехать, а главное, что не предотвратил и не предсказал этой самой водянки заранее, хотя месяц назад к черной корове был приглашаем...

Другой лекарь тебе палец йодом помажет, а ты уходишь от него переполненный по гроб жизни благодарностью, чуть ли не за спасенную жизнь, за возвращенное здоровье и как бы гарантированное место в царствии небесном, а другой... да что о других говорить, их почти и не осталось, и Владимир Петрович вовсе, может быть, из последних.

Как! воскликнет читатель, еще не успевший позабыть названия нашей хроники, как? и этот человек способен на жестокость? и это его поступки, его подвиги идут под рубрику, по праву принадлежащую едва ли не всем генералиссимусам, за вычетом Антона Ульриха, фельдмаршалам и сотрудникам явных и тайных организаций, предпочитающих прижизненной славе славу посмертную.

Да, ни величия души, ни размаха живого ума, сколько ни приглядывайся к Владимиру Петровичу, не различишь, и то сказать, вся жестокость на свете происходит от мелкого люда... Знающие могут возразить и сказать множество примеров того, как злодействовали и обрекали людей на неслыханные муки и лютые смерти вершители судеб, вызывавшие восхищение современников, те самые, кто никогда по великости своих злодеяний не будет отнесен к мелкому люду... Что тут можно сказать? Если для утверждения своей великости никак не обойтись без мучительства, смертей и казней, то пусть сам читатель решит, поднимается ли в этих случаях палач и мучитель до некоторого величия, или напротив, самое величие приспособливается к палачу, до него опускается... Решай сам, читатель, сам, кто тебе по сердцу, с кем тебе по дороге...

Обращаясь назад, мы застанем Владимира Петровича стоящим с сильно бьющимся сердцем и прервавшимся вдруг дыханием, ввергнутым на какие-то недолгие мгновения именно в то самое состояние, в каком он пребывал тридцать лет назад почти два года кряду. Это был узанный им самим отзвук самозабвенной страсти, имя которой любовь.

Они замерли все трое, стараясь не спугнуть очарования этой минуты преждевременными речами.

Серая домашняя кошка вышла из-за куста шиповника, огляделась и с хозяйской деловитостью потрусилась невесомой походкой по кремнистой прогулочной дорожке в сторону замерших на пьедесталах львов, лишь поравнявшись с Владимиром Петровичем, смотревшим на Марию Адольфовну и улыбавшимся, перешла на галоп и в несколько прыжков оказалась на широкой спинке каменной скамьи.

Недолгое юношеское предвкушение жизни еще в ранние лета Владимира Петровича было окрашено тревогой, связанной со столь неудачным социальным происхождением, тускло и робко прошли последующие года; дожив до 70, он так и не сумел полюбить эту жизнь, полную интриг и ловушек, расставленных для каждого из нас на пути к могиле.

Ах, Владимир Петрович! нет чтобы сбросить все, что мучит и угнетает, нет чтобы хоть за минуту до конца закрыть глаза на сумятицу и неразбериху этого мира и полной грудью вдохнуть неземную радость. Он еще никогда не был так близок к тихим радостям домашнего уюта и покоя, воплощенная мечта уже была готова поднять его на своих сладостных крылах, однако... пробужденные вмиг воспоминания коснулись всех струн его души, но ни одна не отозвалась тотчас же желанием счастья, больше того, природа не зывала его к женитьбе, и тусклые ее звуки едва касались сердца и уже не приводили в движение уснувшие чувства. Природа беззвучно подсказывала ему, что сил осталось лишь на то, чтобы поддержать жизнь, а счастье... Что счастье?..

...Они заговорили, перебивая друг друга, но бурная вспышка, обещавшая бесконечные рассказы и расспросы, ни рассказами, ни расспросами не разрешилась, поскольку в сущности никто не знал, о чем говорить.

Речи хлынули потоком, но, к немалому удивлению всех троих, уже через совсем небольшой промежуток времени поток стал иссыхать, а минут через тридцать уже струился так же неторопливо, неся на своих волнах множество случайного сора, как водится в пору половодья, когда вышедшая из привычных ограничений река от полноты чувств чего только не подхватит из всякой плавающей дряни, до которой случится дотянуться нечаянным водам.

В какой-нибудь час они рассказали друг другу почти все, что могли рассказать. Не могла же Мария Адольфовна вот так сразу обрушить на Владимира Петровича рассказ о событии, быть может самом ярком и значительном в истекшие годы, о том, как сотрудники материального склада вместе с отрядом вооруженной охраны провожали на заслуженный отдых работника вооруженной охраны, шестидесятилетнего стрелка, служившего долгие годы примером в труде и общественной жизни. И дело совсем не в том, что слог у Марии Адольфовны недостаточно красочный, просто она даже сама удивилась, как быстро кончился ее рассказ об этих долгих и утомительных годах приуральской жизни. Не могла она вот так вот сказать о том, как именно ее вкус, а еще в большей мере ее немалый авторитет помог вырваться из захолустной безвестности даровитому ныне художнику Аркадию Михайловичу Р. Два года, живя в общежитии, писал он картину «Штурм» красками и маслом. Центральное место в картине занимал невиданных размеров красноезвездный танк, которого одного было бы достаточно, чтобы сокрушить все остальные танки на свете, над танком развевалось победоносное знамя, а за ним летели солдаты, почти не касаясь брезентовыми сапогами образца 41 года брустверов вражеских окопов, солдаты с лицами обитателей железнодорожного общежития. На глазах Марии Адольфовны девятнадцатилетний Аркадий Михайлович Р. преодолел ограничительные рамки гиперболического реализма и поднял кистью художника материал и тему картины до высот эпического гротеска. Вокруг картины «Штурм» не утихали страсти. Комендант общежития довольно быстро уловил веяния времени и понял, что глубинное понимание искусства состоит в умении запрещать. Он сказал, что в комнате отдыха никогда не будет висеть эта насмешка над нашей Победой. Причина же подлинная крылась в другом: один из

убегавших немцев, хотя и был изображен со спины, был неотлично похож на коменданта. Немец заваливался направо и, должно быть, лишался в этом бою если не жизни, то, как минимум, правой ноги...

Присвоение власти, ему не принадлежащей, было маленькой слабостью коменданта общежития, а может быть, и характерной для эпохи чертой, заимствованной комендантом у персон такого полета, таких высот, куда ему с его деревянной ногой было и не взлететь никогда в жизни. Пребывавшие в разного рода зависимости от него обитатели общежития робели защищать картину «Штурм», только Мария Адольфовна нашлась и сказала, что Аркадий израсходовал почти все краски, что были выписаны на культурно-воспитательную работу в общежитии, и если картина не будет висеть на видном месте, то отчитаться в израсходованных красках будет невозможно. Доводы подействовали на коменданта, и он уступил. А буквально через год выписанный из Москвы настоящий художник, расписывавший Клуб железнодорожников, увидев «Штурм», пригласил Аркадия Р. к себе в помощники, а потом и вовсе увез в Москву и вывел на большую дорогу монументальной живописи...

Владимир Петрович сидел на скамейке, подвинув к Марии Адольфовне свое лицо, с той самой улыбочкой, которой, видно, сносу нет, той самой, за которую, не ведая того, расплачивался и по сей день, он рассматривал большое рыхлое лицо своей бывшей невесты сквозь выпуклые стекляшки круглых очков. Стекляшки на очках были покрыты такой сеткой царапинок и мутных пятнышек, что и зрячий-то через них ни шиша не увидит. А Владимир Петрович рассматривал Марию Адольфовну досконально, даже головой двигал и почти ничего не слышал, потому что, когда Мария Адольфовна сказала, что наведывается теперь к Алеше Тебенькову уже не первый раз и живет чуть ли не четвертый месяц в гостях, скоро уж и домой ехать пора, он вдруг высказался:

— Нехорошо, Маша, что ты так далеко уехала, надо тебе в Ленинград переезжать.

Потом он стал рассказывать про свои болезни, расспрашивать про болезни Марии Адольфовны, подробно рассказал, при какой болезни какая нужна диета. В этом месте разговора приняла живейшее участие Клавдия Степановна, лишь улыбавшаяся до этой поры. Сошлись на том, что кефир, хоть и простая вещь, но всегда хорош,

только что не от радикулита. Владимир Петрович привел несколько очень удачных цитат из Ильи Ильича Мечникова.

Позднее состоялся визит Владимира Петровича к Тебеньковым, и он в шесть вечера говорил о том, что на ночь есть вредно. Спрашивал, есть ли в винегрете постное масло, и, узнав, что таковое там имеется, печально улыбнулся, очень печально. Со скорбным выражением лица съел винегрет. Когда приступал к рыбе, которая тоже оказалась жаренной на постном масле, рассказал о вреде жареной пищи. Рыбу тоже съел, но чай пил принципиально без сахара.

Визит Владимира Петровича счастливо совпал с прибытием под родительский кров обоих сыновей: старший сбежал со стройки в какую-то выдуманную командировку, чтобы отдохнуть от холостой жизни, младший, очередной раз поругавшись со своей юной женой, примчался отдохнуть от жизни супружеской.

Дети потом еще долго играли во Владимира Петровича, третируя мать постным маслом, разговорами о диете и вспоминая услышанное от Владимира Петровича: «Очень вам кланяюсь...»

Визит Владимира Петровича оставил след и в памяти Клавдии Степановны, более того, именно во время этого визита Клавдия Степановна, пораженная внезапно явившейся ей мыслью, побледнела и ни чем более не выдала своего волнения. Сначала ей самой нужно было свыкнуться с явившейся мыслью, а потом уже приручить к ней и Марию Адольфовну.

В домашних разговорах, непрерывно шедших между двумя женщинами, подолгу остававшимися вдвоем, все больше и больше места стали занимать вопросы брака. Клавдия Степановна не однажды говорила о том, что к браку, замужеству и женитьбе нынче относятся совсем не так, как в прошлые времена, с чем Мария Адольфовна спешила согласиться. Клавдия Степановна привела немало примеров даже вовсе фиктивных браков, где супруги соединяются только на бумаге, как бы в глазах государства, а в действительности ничего подобного не происходит. Мария Адольфовна слушала эти рассказы примерно с таким же ужасом и искренним состраданием, как рассказы о столкновении трамваев или об упавшем в Фонтанку троллейбусе. Каково же было удивление Марии Адольфовны, когда она сначала почувствовала, а потом и

вовсе поняла, что Клавдия Степановна как бы совершенно снисходительно взирает и даже почти что проповедует легкомысленное отношение нынешней публики к вопросам супружества и брака. Она даже не поверила своему наблюдению, но Клавдия Степановна была настолько определена, что для сомнений уже не оставалось места.

— Клава, я знаю, сколько трудно вам было сохранить семью, — сказала Мария Адольфовна, делая ударение на «е» в слове семья. — А нынче семья только для удовольствия, кончилось удовольствие, кончилась семья.

— Конечно, мы люди другого поколения, — спешила оправдаться Клавдия Степановна, — а нынче смотрят на все это значительно проще.

— Не надо смотреть значительно проще, — убежденно сказала Мария Адольфовна. — Проще, чем у нас в общезжитии, нигде не бывает, это скверно, так плохо...

Немалые усилия, потраченные Клавдией Степановной на попытку то ли расшатать консервативно настроенную Марию Адольфовну, то ли привить ей зеленые побегии современной морали, оказались совершенно излишними. То, к чему Клавдия Степановна так долго, трудно и безуспешно подбиралась, решилось само собой.

Когда Мария Адольфовна рассказывала Тебеньковым свою историю с Владимиром Петровичем, не находя, впрочем, убедительного или даже сколько-нибудь подробного объяснения своему отказу от руки и сердца Владимира Петровича, она сама назвала его несколько раз «вечный жених». Действительно, потерпев сокрушительное поражение в соискании руки Марии Адольфовны, Владимир Петрович более подобных попыток не повторял и женат ни разу не был.

Однажды под праздник Мария Адольфовна вдруг сказала сама: «Надо жениха позвать...» — что говорит о ней не только как о человеке, способном к состраданию и деятельному сочувствию, но и как о человеке с юмором, а в семьдесят лет человека с юмором встретишь реже, чем с добротным сердцем или хорошим кровавым давлением.

И вот уже без обиняков, но на всякий случай как бы между прочим, во время мытья посуды после завтрака Клавдия Степановна бросила вскользь давно уже вызревавшую в ней мысль:

— Мария Адольфовна, вам надо с Владимиром Петровичем зарегистрироваться...

Мария Адольфовна безмолвно сметала крошки со стола специальной гнутой щеточкой на плоский прямоугольный подносик.

Нетерпение Клавдии Степановны было так велико, что она даже не смогла выдержать подобающую случаю паузу, на худой конец, хотя бы подкрепить сказанное соответствующим выражением лица или позой глубокой задумчивости; она повторила свое предложение с азартом непринужденности.

— Да не кричите,— строго сказала Мария Адольфовна, хотя Клавдия Степановна, видит бог, и не собиралась кричать.

Не думая о прошлом и предоставив будущее воле провидения, Мария Адольфовна умела сосредоточиться на каждом предстоящем деле, поступая согласно разумения и правды, не ведая о том, что прекрасное безумие и есть прекрасная жизнь, как уверяют люди, надо полагать, отведавшие и того и другого.

Подозревая в молчании Марии Адольфовны зреющий отказ, Клавдия Степановна, стремившаяся всегда по мере сил направить судьбу по верному руслу, стала подробно и очень убедительно разъяснять вопрос с пропиской.

Факт регистрации даст возможность прописаться у Владимира Петровича, а жить, разумеется, у Тебеньковых. Формальные строгости, существующие на этот счет, можно вовсе не принимать во внимание, потому что вот уже два года младший живет у жены, прописан здесь, и ни одному человеку в голову не приходит задавать на этот счет какие-либо вопросы. Единственная, совершенно единственная сложность, да и можно ли ее считать сложностью? — это участие в выборах, в голосовании. Здесь выявляют граждан и вносят в списки по месту прописки, но и это необязательно, поскольку достаточно взять открепительный талон, и можно вовсе не голосовать, не причиняя таким образом никаких беспокойств тем, кто призван судьбой и долгом обеспечивать изумительный процент участников голосования повсеместно. Тут же Клавдия Степановна пояснила, что за талоном этим даже ездить необязательно, его с удовольствием выдадут Владимиру Петровичу по первому же требованию с большой охотой.

— Вы устали... Ну, сколько можно — общежитие и общежитие? Что вам этот Кунгур, наконец? Хорошо, а заболаете? — Клавдия Степановна даже сама удивилась оче-

видности и несокрушимости всех резонов за переезд в Ленинград.

— У нас хорошая больница, железнодорожная,— наконец произнесла Мария Адольфовна, тяготясь невозможностью вступить в разговор по существу и понимая необходимость хоть что-то сказать.

Всю жизнь совершая поступки лишь сообразно своему представлению о должном и невозможном, Мария Адольфовна совершенно бессознательно получала в награду покой, душевное равновесие и согласие с самой собой... Предложение же Клавдии Степановны, не такое уж и неожиданное, отозвалось неуловимым беспокойством, разговор даже чем-то был неприятен, но протест, всегда готовый вырваться наружу легко и просто как крик: «Стоять! Кто идет?!» — на этот раз не находил себе опоры, и потому ничего не оставалось, как уйти в себя, но и уйдя в себя, она не нашла там привычного покоя и согласия.

Та энергия, энтузиазм, даже страсть, с которыми за дело взялась Клавдия Степановна, как бы отодвигали саму Марию Адольфовну не только от необходимости думать о себе, самой совершать поступки, принимать решения, произносить слова, проявлять инициативу, то есть быть самой кузнецом своего счастья; чужие энтузиазм и энергия как бы снимали с Марии Адольфовны ответственность и вину за все последствия и даже за качество того счастья, которое будет воздвигнуто чужой волей и в значительной мере чужими руками, хотя бы и с молчаливого согласия ошастливленной.

Прежде чем выразить свое согласие, Марии Адольфовне нужно было найти ответ на самый главный вопрос: не обернется ли вся эта затея для Тебеньковых какой-нибудь неприятностью, досадой, стеснением, и не поставит ли ее, человека, привыкшего к независимости, в положение неудобное и непривычное.

Как известно, одной из высших форм, одним из высших свидетельств не только любви, но и симпатии, расположенности, уважения, доверия, даже прежде всего — доверия! — в современной жизни служит согласие на прописку кого-либо на свою жилплощадь. Каждый из нас, не говоря о крупных и видных специалистах по современной семье, назовет немало примеров того, как супруги, пройдя все стадии испытания чувств, вплоть до венчания в загсе, не спешат тем не менее прописывать друг друга на свою жил-

площадь, а прописав, иной раз долго и искренне в этом раскаиваются.

Мария Адольфовна отчетливо понимала, что с этой стороны Клавдия Степановна ничем не рискует и приведенный в исполнение замысел никаким бременем ни на кого не обрушится.

Ни Владимир Петрович, ни Алексей Андреевич, посвященные в созревший план, не высказали никакого сомнения в его реальности и необходимости. Да и кому бы в голову пришло щепетильничать, когда именно эту пору можно будет назвать порогом эпохи, давшей небывалый толчок и небывалый повсеместный расцвет обывательского творчества самых разнообразных поступков мелко-уголовного характера, эпоха, над которой еще предстоит задуматься, последствия которой еще предстоит осмыслить, делала лишь первые энергичные шаги. Живя всю жизнь под чужую дудку, Владимир Петрович научился, как и все мы, вытанцовывать самые что ни на есть фальшивые пассажи, а Алексею Андреевичу, имевшему дело с экономикой, обретающей все более и более романтический характер, удивляться невинной прописке Марии Адольфовны к Владимиру Петровичу и в голову не пришло.

Эпоха требовала все больше и больше блеска, шума и величия, чтобы скрыть бурно пробудившуюся к жизни самодеятельность нетерпеливых, не веривших ни одной секунды в приближение всеобщего благоденствия и положивших немалые усилия своих оборотистых душ на благо своих близких, дальних, родных и милых. Прodelки вельмож, призванных к общественному служению в ту пору, уже заполняют страницы и тома иных хроник, нам же необходимо отметить, что именно в это время авторитет родства, а стало быть и семьи, необычайно возрос. Немалое значение в этой связи стали придавать и самому акту вступления в брак.

Дворцы бракосочетаний еще только вызревали в умах ответственных мужей, а уже комнатки в исполкомах, где чохом вершились записи актов гражданского состояния, украсились четким расписанием времени, когда записывают рождение, когда бракосочетание, а когда и, так сказать, последнее гражданское состояние. Само время породило и поставило в повестку дня вопрос о торжественной регистрации бракосочетаний. Идя навстречу поже-

ланиям большинства новобрачных украсить свадебный стол хорошей пищей да и самим придется по возможности в импортное, словно по волшебству открылись специальные магазины, куда кроме родных и знакомых работников этих магазинов впускались по специальным талонам новобрачные и самые приближенные к ним лица. Талоны выдавались при подаче заявлений.

Продовольственный салон в ту пору размещался на Литейном проспекте, в помещении неказистом, ныне занятом безалкогольным кафе «Гном», и имевшее место его посещение навряд ли представляет исторический интерес, куда интересней было бы побывать в роскошном гастрономе «Стрела» в «Доме Помещика» на Измайловском проспекте, где сегодня вершится таинство распределения продуктов для свадебных торжеств. Куда более важным моментом предлагаемой семейной хроники является поход будущих супругов в сопровождении неперменной Клавдии Степановны в загс Выборгского района, где были поданы соответствующие заявления и дело приобрело характер государственного события.

Тайные, скрытые от глаз механизмы, а может быть, просто причуды человеческой природы порождали в ту эпоху самые неожиданные поступки, изумлявшие своей откровенной странностью.

Мария Адольфовна, как ни крути, тоже человек своего времени, и потому немало удивила Клавдию Степановну тем, что не только с неожиданной легкостью согласилась на то, чтобы расписаться с Владимиром Петровичем, но даже несколько торопила совершение этого акта.

Тайный механизм женского сердца! в какой свадебной истории ты не придашь событиям тот неожиданный, непредсказуемый, волнующий ход, без которого и сама свадьба, да и сама жизнь была бы пресна и ординарна, как женщина без загадки, без тайны, без тревожащей душу способности взглянуть и на привычный предмет особенным образом!

Ни Владимир Петрович, ни Клавдия Степановна не были, разумеется, посвящены Марией Адольфовной в тайную причуду, заставлявшую ее даже торопить события.

Все дело в возрасте! и вовсе не в уходящем неведомо куда времени, истекающем стремительно и непрерывно, а в том, что Мария Адольфовна и Владимир

Петрович были ровесниками, но... совсем непродолжительное время, всего лишь три месяца! Да, да...

Вступаете ли вы в Вооруженные силы, идете ли на прием к врачу или фиксируете свое новое гражданское состояние, государство интересуется в этом случае вашим возрастом лишь в округленно взятом количестве прожитых лет, во многих анкетках есть даже такая графа — «полных лет»... Чем полных?.. Мария Адольфовна была при строгом рассмотрении вопроса ровно на девять месяцев старше Владимира Петровича, и, зная, что придется заполнять анкетку и все указывать, ей хотелось, чтобы в графе возраст или «полных лет» и у жениха и у невесты стояли одинаково круглые цифры «70». Имея день рождения на яблочный спас, в начале августа, Мария Адольфовна хотела шагнуть своим не утратившим, слава богу, твердости и выправки шагом под венец непременно со своим ровесником, для чего все надо было оформить до 6 августа.

Заявления были поданы 1 июля, и по всем статьям, даже с учетом месячного испытательного срока, отпускаемого государством для проверки вспыхнувшего чувства и серьезного осмысления предстоящего шага, даже со всеми проволочками можно было расписаться до 6 августа.

Принимавшая заявления бесполоая барышня лет тридцати двух — тридцати шести почти без интонации разъяснила невозможность ни поторопить, ни ускорить день регистрации, она говорила, привычно глядя куда-то в окно, где шли по тротуару оживленного проспекта, изобилующего заводами и фабриками, молодые, средних лет и солидные мужчины, в известной части, разумеется, неженатые, сюда же, в тесные ее апартаменты с неумолкающим динамиком городской радиотрансляционной сети они заходили или как женихи, в сопровождении сверкающих торжеством невест, или как свершившиеся отцы, неся на своих мужественных руках пожизненные оковы отцовских забот, или как убитые горем вдовцы, еще не оправившиеся от потрясения и потому не замечающие, что жизнь не кончилась, земля не опустела, как это показалось им накануне...

Суть же разъяснения была проста: регистрация браков временно сокращена в связи с переоборудованием специального помещения для «торжественной регистрации». «Вам же лучше будет...» — как-то подчеркнуто от-

деляя себя от грядущих радостей новобрачных, без интонации сказала регистраторша. «Нам нужно сейчас, а не лучше!» — строго сказала Мария Адольфовна, пытаясь увидеть глаза государственного человека.

Государственная барышня обернулась, окинула взором нетерпеливую невесту, тень горькой усмешки чуть искривила ее давно не целованные губы, и она проговорила как о давно известном: «Вас же будет уже депутат регистрировать, а у меня пойдут только рождения и смерти. Помещение готовится, идет ремонт. Вот видите? — барышня откровенно помахала исписанными страницами амбарной книги.— Все переносят на август, и никто еще не возмущался. Удивительный народ — вам же делают лучше, а вы еще и не хотите...» Барышня пожала плечами и посмотрела на Владимира Петровича с большой надеждой: «Записывать вас на... десятое августа или еще подумаете?» — явно давая понять, что с такой невестой лично она гарантировать ему супружеское счастье не может. И добавила: «Если надо так быстро, можно регистрироваться по месту прописки невесты...»

Клавдия Степановна извиняюще улыбнулась, Мария Адольфовна округлила глаза и буркнула что-то невнятное, скорее всего по-польски.

Владимир Петрович, не видевший никаких опасностей в назначении регистрации на 10 августа, тем не менее понимал, что надо стоять за своих. Подавив понятное каждому мужчине в подобных обстоятельствах волнение, он овладел собой и, торжественно поименовав полным именем и фамилией свою невесту и себя самого, как бы в третьем лице, объявил о желании вступить в брак немедленно, заслужив при этом улыбку ободрения от Клавдии Степановны. Живость и непринужденность, которых так не хватало регистраторше, пробудившиеся было на почве нормального житейского любопытства, вдруг оставили ее, и она, не поднимая глаз, погрузилась в то привычное рабочее состояние, в котором важно и строго исполняла свое жизненное предназначение, одинаково чуждая серьезному и смешному.

Нельзя сказать, чтобы регистрация браков под звуки городской радиотрансляции была для достигшей расцвета всех своих сил и свойств регистраторши делом служебным, лишь слегка окрашенным привкусом личной досады. Непрестанное наблюдение граждан в минуты значи-

тельных житейских напряжений сделали ее удивительно зоркой, даже будущие счастливые семьи не казались ей похожими друг на друга; по неуловимым штрихам, чертам, черточкам, теням под глазами, брошенным взглядам в сторону, опущенным ресницам с поразительной пронизательностью она отмечала про себя неразличимые для счастливых черты грядущих катастроф и потрясений, и некоторая ее сухость, строгость и сдержанность объяснялись, быть может, тем, что в этом же рабочем столе лежал штамп, отмечающий в паспорте факт прекращения брака. Куда больше оживления и участия вызывали у земной помощницы Гименя странные браки, каковых происходит чуть ли не каждую неделю немало: заходили расписываться как бы между прочим, прихватив «свидетелей» чуть не здесь же, в коридоре из неиссякаемой очереди в бюро по жиллобмену, заходили с авоськами и портфелями, в уличных сапогах, заходили втроем, когда неведомый устроитель семьи лишь готовился покинуть материнское чрево, приходили слегка «под мухой», будто женились на спор, непрестанно хохоча; особенно острые ощущения, памятные на целый день, а иногда и больше оставляли причудливые соединения в браке людей, совершенно несходных, очевидно несходных статью, возрастом, манерой... И хотя регистрация старичков, как наш случай, не была уж такой особенной редкостью, но все-таки принадлежала к тем обстоятельствам наблюдаемой со стороны жизни, которые придавали ее собственному существованию остроту и тревогу. Именно поэтому оставшаяся по собственной воле безымянной сотрудница загса вдруг почувствовала искреннее, сердечное желание сделать все так, чтобы этим старичкам не пришлось еще один месяц — много ли их осталось? — жить не так, как они для себя придумали. Неожиданно ее взгляд упал на открытую страницу регистрационной книги, и она увидела пустую строку, куда можно было вписать регистрацию на завтра. Однако желанию Владимира Петровича зарегистрироваться немедленно не суждено было сбыться. Кстати, до сих пор умнейшими наблюдателями человеческой жизни так и не решен вопрос: что хуже — вовсе несбывшееся желание или желание, сбывающееся немедленно, едва возникнув. Помехой же на пути немедленного решения вопроса оказалась Клавдия Степановна, она решила пустить в ход все свое немалое обаяние, всю свою лучезарность, всю многолетнюю, практикой под-

твержденную способность обращать к себе людей нужной стороной, — это-то и сгубило дело.

«Извините... вас зовут?..» — Клавдия Степановна так непринужденно улыбнулась, а голос звучал так легко и открыто, что ни одному человеку в мире не пришло бы в голову, что этот голос и эта улыбка могут усложнить жизнь, омрачить ее или отяготить невозможными просьбами, такая улыбка и такой голос могут только украсить жизнь... «Вас зовут?..» — повторила Клавдия Степановна, предположив, что ее не расслышали. «Это не имеет значения», — сухо сказала регистраторша и захлопнула книгу, куда могла бы лечь строкой если не счастья, то хотя бы сравнительного благополучия запись про Марию Адольфовну и Владимира Петровича; ее слова и жесты опережали мысль и были подвижны внезапно вспыхнувшим чувством неприязни к этой красивой, благополучной, поблескивающей колечками, одетой, прибранной женщине, пахнувшей непростыми духами, и вовсе не потому, что надушилась, отправляясь по важному делу, просто сама ее одежда, волосы, кожа уже впитали в себя неистребимый запах уверенности и довольства... «Это ей нужно, ей, — едва увидев улыбку Клавдии Степановны, решила регистраторша. — Все есть, так еще что-то придумала... Старичков венчает. Ишь, что ей понадобилось!..»

«Вы же прекрасно видите, я очень хочу вам помочь, я понимаю все... я все понимаю, но помочь не могу...» — Голос регистраторши подобрел, в нем зазвучали теплые человеческие тона.

Все трое переглянулись, пожали плечами и двинулись к выходу. Ничего не оставалось, как ждать 10 августа.

Весь визит, вместе с подачей заявления, оформлением промтоварного и продовольственного талонов и беседой занял ровно четыре минуты.

«Следующий!» — крикнула в открытую Владимиром Петровичем дверь регистраторша, устоявшая перед искушением нарушить правила и установленный для всех порядок.

Клавдия Степановна была крайне смущена, цветы, возвращенные в тайниках ее души и вытасщенные на свет божий, уже не производили того волнующего впечатления ни на окружающих, ни на нее саму.

.....

10 августа, в четверг, в одиннадцать часов утра

Мария Адольфовна и Владимир Петрович сидели в свежотремонтированной и оборудованной мягкими креслами аванзале, предварявшей скромный, но вполне опрятный и строгий зальчик торжественной регистрации. Три группки молодых людей в окружении приятелей и немногочисленной родни не обращали никакого внимания на стариков, по-видимому поджидавших своих внуков.

За плотно закрытой двустворчатой дверью слышался марш Мендельсона...

Клавдия Степановна и призванная второй свидетельницей, со стороны жениха, соседка его, Екатерина Трофимовна, в свое время даже имевшая виды на Владимира Петровича, оживленно разговаривали. Клавдия Степановна, демонстрируя незаурядную выдержку, даже умудрилась смеяться, шутить, как и полагается на пороге радостного события. Владимир Петрович подробно и с горьким пафосом торопливо рассказывал Марии Адольфовне какой-то фильм, виденный у соседей по телевизору, суть рассказа сводилась к тому, что идти в кинотеатр и смотреть за деньги такую ерунду было бы обидно, а вот так, между прочим, посмотреть у соседей по телевизору, так вроде и ничего, и картина все-таки с познавательной точки зрения интересная, игра актеров хороша, песня красива и очень красивая любовь интеллигентной женщины и простого рабочего... Мария Адольфовна слушала безучастно, еще не решившая для себя, в какую сторону она двинется, когда призовут войти в торжественный зал, где уже в третий раз за утро прозвучит марш Мендельсона.

Затея, рассчитанная на деловую регистрацию в тесной исполкомовской комнатухе, явно не выдерживала ни всей этой публичности, ни шума, ни звона, ни громких голосов. Словно пробуждаясь, Мария Адольфовна смотрела на все предприятие трезвыми глазами и не думала больше о будущей спокойной жизни.

Наконец дверь в главную залу была распахнута, и с ее порога знакомая уже регистраторша громогласно объявила: «Мария Адольфовна Сварецкая и Владимир Петрович Гусаров приглашаются пройти в зал для торжественной регистрации брака!» Клавдия Степановна лишь сдержанно кивнула. Владимир Петрович со своими ущербными очками служительницу не узнал, только Мария Адольфовна подступила к ней вплотную с вопросом:

«Вы говорили, что будет депутат?» Регистраторша, совершенно справедливо считая неуместными любые разговоры не по существу, плавным жестом руки указала путь следования к полированному столу, за которым стояла юная и миловидная депутатка райсовета с красной лентой, украшенной гербом республики, через плечо. Депутат искренне и приветливо улыбалась.

Едва за будущими супругами и их свидетелями замкнулись обе створки дверей, как торжественные звуки уже слышанного из-за дверей марша вырвались из незаметно включенного магнитофона, придавая моменту волнующую значительность.

Мария Адольфовна и Владимир Петрович стояли перед столом, как провинившиеся дед и бабка, вызванные в школу к завучу, а может, и к самому директору начальной школы для серьезного разговора об отставании внука по природоведению и дисциплине.

Незаметным укоризненным кивком головы Клавдия Степановна дала понять, что музыку прокручивать до конца необязательно.

Депутат мгновенно уловила этот сигнал и почти незаметным движением руки, как бы желая опереться на стол, снизу стола выключила музыку.

.....

Когда вышли из зала, где получили паспорта со штампами и расписались в книге, Клавдия Степановна предложила всем поехать к ней закусить, напирая на то, что ничего особенного не затевается, но посидеть надо.

Екатерина Трофимовна, почитая предложение своевременным и разумным, вопросительно посмотрела на Владимира Петровича.

— Вы поезжайте, а я никак не могу,— торопливо проговорил Владимир Петрович.— Мне к часу надо в амбулаторию. Только-только поспеть осталось времени. Номерок у меня взят...

Владимир Петрович вынул из пухлого бумажника, набитого старыми и новыми рецептами, какими-то счетами и даже вырезками из газет бумажный амбулаторный номерок, внимательно его на глазах у всех рассмотрел и снова спрятал в бумажник. После этого распрощался и поспешил на трамвайную остановку, зная по опыту, как

редко в эту пору, после бурной утренней развозки ходят трамваи.

Когда приехали домой вдвоем, Екатерина Трофимовна куда-то тоже заспешила, Мария Адольфовна, вешая пальто на распялку, буркнула себе под нос, полагая, что ее никто не слышит:

— Хоть бы цветочки купил...

Бывшая здесь же рядом Клавдия Степановна обняла Марию Адольфовну и поцеловала...

«Хоть бы цветочки купил...»

И это все?! Все, что может сказать в решающую минуту своей жизни старая женщина, когда жизнь в последний, быть может, раз отвратила от нее свое лицо? И только эти три слова в упрек жизни, заряженной на всякую минуту дерзостью и оскорблением? Ни стона, ни гнева, ни слез?.. И где? на земле, взрастившей не одну революцию, а целых три, на земле, где дважды у памятника основателю города прозвучало — «Ужо!» — сначала брошенное безумным Евгением, а ровно через год подтвержденное на том же самом месте безумным выстрелом Каховского.

Нет! в Кунгур! в Кунгур! гряди, Мария Адольфовна, как невеста Ливанская, на предуготовленное тебе ложе на кладбище станции Кунгур, где ждет тебя покой, которым нет никакой возможности насладиться.

А что же обещанная жестокость? Неужели напрасно, неужели без результата унижала, давила, сокрушала и оскорбляла пани Сварецку эта неповторимая, огромная, полная песен, прогресса и достижений жизнь, безудержно устремленная к сиятельному будущему, летящая без оглядки на стыд, без почтительности к юности, без жалости к зрелости, без уважения к сединам? Неисправимая, несгибаемая, неумолимая Мария Адольфовна закусилась удилами и в минуту, быть может, последнего унижения не смирилась перед скупостью, перед жадностью жизни на добрый жест, на знак внимания. И нет прощения, нет извинения ни замордованному до ненужности, ни загнанному в угол жениху, если мог он из своего угла протянуть руку с цветами, а не протянул!

Но разве это — свадьба?

Пусть игра! Пусть игра, продиктованная роскошной и неумемной фантазией мироустройства, обращающего мелочную гнусность в правило и порядок. Игра? Но дру-

гой у нас нет, и не вина Марии Адольфовны, что она могла играть лишь по правилам чести.

Мария Адольфовна уедет в Кунгур. В общежитии ее место будет тут же освобождено от временно подселенной выпускницы Пермского техникума связи. После небольших формальностей, на которые и уйдет-то всего неделя, ей выдадут на почте пенсию аж почти за полгода!

Хорошо и Владимиру Петровичу, вкусившему наконец свою несбыточную мечту в самом полном, то есть идеальном смысле. В оставшиеся ему восемь месяцев жизни на двойных тетрадных листах он отправит четыре письма в Кунгур. Он проживет не только на бумаге, но и в сердце своем бурную, легкую, слегка пьянящую и свободную пору счастья, не отягощенную и не униженную ничем земным. И здесь остается лишь пожалеть, что чувствам этим суждено было пробудиться и расцвести лишь после отъезда Марии Адольфовны, быть может, и несколько торопливого. Помнится, именно в предпоследнем письме Владимир Петрович кратко и толково, от всей полноты чувств излагал план жизни соединенных сердец, и план этот имел черты практические и вполне исполнимые.

Пройдут века, и навряд ли в точности будет отыскано место Марии Адольфовны и Владимира Петровича в крутом, грозном и отчасти кровавом прологе грядущей цивилизации, а пока бегством в могилу они норовят ускользнуть от неминуемого светлого будущего.

Позвольте проститься с вами откровенно, читатель, так же откровенно, как и познакомились, без церемоний, мы же люди жестокого века, ведь это мы оскорбляем стариков нищетой и бесправием... и храним свято эту нашу маленькую семейную тайну.

Хорошо Марии Адольфовне, она старая и скоро умрет, а нам с вами жить...

СОДЕРЖАНИЕ

- 3 **Жестокость**
Из семейной хроники
- 45 **Ночной дозор**
*Ноктюрн на два голоса при участии
стрелка ВОХР тов. Полуболотова*
- 113 **Капитан Дикштейн**
*Фантастическое повествование
о мятежном кондукторе*
- 255 **Семь монологов в открытом море**
*Мирная хроника военно-морской жизни
с тремя прологами без эпилога*

Кураев М. Н.

К93 **Ночной дозор: Повести.— М.: Современник,**
1990.— 332 с.

ISBN 5—270—01080—1

Первые же публикации Михаила Кураева — «Капитан Дикштейн», «Ночной дозор» — вызвали самое широкое читательское внимание. В своих произведениях, будь то эпизоды Кронштадтского мятежа или монолог бывшего сотрудника НКВД, писатель воссоздает напряженную взаимосвязь отдельной человеческой судьбы с течением истории, с судьбой народа. Проза М. Кураева исполнена точными реалиями, глубокими раздумьями о жизни, о времени.

К $\frac{4702010201-132}{M106(03)-90}$ **КБ—50—13—89**

ББК 84Р7

Кураев Михаил Николаевич

НОЧНОЙ ДОЗОР

Повести

Редактор **Г. Н. Калашникова**

Художник **В. И. Бобров**

Художественный редактор **А. В. Днянов**

Технический редактор **Г. А. Иванова**

Корректоры **М. Г. Курносенкова, Г. В. Селецкая**

ИБ № 5882

Сдано в набор 23.08.89. Подписано к печати 30.07.90. А00880.
Формат 84x108/32. Гарнитура Литературная. Печать высокая.
Бумага тип. № 2. Усл. краск.-отт. 17,64. Усл. печ. л. 17,64.
Уч.-изд. л. 18,33. Тираж 50 000 экз. Заказ 593. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Сою-
за писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли

445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

В издательстве «Современник»
в 1990 году
выйдут в свет следующие книги

Ю. НАГИБИН. «Ильин день»,
повести и рассказы

А. ЦВЕТАЕВА. «Атог»,
роман и повесть

А. ТКАЧЕНКО. «Воитель»,
роман и повести

А. ЖИГУЛИН. «Черные камни»,
автобиографическая повесть